

ЮРИЙ ШИНКАРЕНКО

На дне сыроежки ломаются

«КАРТИНКИ» С ПОДРОСТКАМИ



Юрий Шинкаренко
На дне сыроежки ломаются.
«Картинки» с подростками

*http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=24309844
ISBN 9785448527630*

Аннотация

В сборник вошли эссе и заметки о подростках, созданные автором за 25 лет. Жизнь отрочества показана во всей наготе правды, но согрета верой в состоятельность каждой подрастающей личности. Публиковавшиеся ранее в прессе, в блогах, заметки объединены в новый цикл, что придаёт повествованию о подростковом мире, о сменяющихся друг друга поколениях художественную целостность и энциклопедичность. Книга предназначена для родителей и для всех, кого интересуют проблемы социализации подростка.

Содержание

«Картинки» с подростками (вместо предисловия)	5
1. 90-Е, ПОШЛИ!.. (поколение 90-х годов XX века)	6
Переводчик иного образа жизни	6
На дне сыроежки ломаются	9
Авторская педагогика	15
В рыжий дом заглянула печаль	18
Дождь смывает след зелёного мелка	25
Тётя продавец, продолжатель Аристотеля	29
Крокодилы летают, только низко	32
Конец ознакомительного фрагмента.	37

На дне сыроежки ломаются «Картинки» с подростками

Юрий Шинкаренко

© Юрий Шинкаренко, 2017

ISBN 978-5-4485-2763-0

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

«Картинки» с подростками

(вместо предисловия)

Подростков (девочек, а ещё чаще – мальчиков) я «рисую» вот уже четверть века. Рисую их словом, символической метафорой, социологическими инструментами. Стараюсь как можно точнее отражать, детализировать их внешний вид, их привычки, их речь и поведение. Картинки эти чем-то похожи на деревянные дощечки «малых фламандцев», которые прославились живописанием быта своей родины, отражением индивидуальных характеров той давней сцены.

Я «рисую» свою сцену: Россию на переломе тысячелетий. За каждой «картинкой» – конкретное время со всеми его приметам, конкретные молодые люди. Однако есть общее во всех моих «дубовых дощечках». Они пропитаны молодыми токами энергии, жизни. Они излучают эту шальную энергию молодости, – и любой, глядя на юных героев, может стать моложе и непосредственной. А ещё мои герои беззащитны. И каждую «картинку» смело можно сопровождать таким пожеланием: «Оглянись, уважаемый мой читатель! Может, и рядом с тобой есть тот, кому нужно твоё участие!».

1. 90-Е, ПОШЛИ!.. (поколение 90-х годов XX века)

Переводчик иного образа жизни

Символом поколения может стать и голос.

Впервые со всей яркостью это проявилось, пожалуй, в со-роковые годы. Щупальца средств массовой информации – траурные чёрные «тарелки» – проникали в самые медвежьи углы. И не стало ни одного человека, кто бы ни слышал:

«Га-ва-рит Мас-ква! Га-ва-рит Мас-ква!.. Немец-ка— фашистские зах-ва-тчики *а*становлены на рубеже... Наши части перешли в наступление...».

То был голос Левитана. Символ торжественный и трагический. Он единил людей в порыве к национальной свободе, к отстаиванию национальной самобытности. Но в другие времена и в других обстоятельствах этот же голос постоянно напоминал о несвободе внутренней (внутригосударственной), о навязывании заимствованного у европейских мудрецов Учения, заставлял помнить топор тоталитаризма, нависающий над головами.

Для нынешних подростков голосов-символов много. Кто-то из них решит, что знаком юности, символом 80-х стали

песни Цоя (Гребенщикова, Кинчева, Бутусова), кто-то сошлётся на «Белые розы». Не будет, естественно, обойдён вниманием уже чуть призабытый голос Михаила Сергеевича и набирающий силу глас Бориса Николаевича.

Но мне, простите за нахальство, все эти выборки кажутся не совсем верными, поверхностными. Они лишь частично связаны с мироощущением нового поколения.

Голос, который точнее выражает и это новое мироощущение, и глубинные причины его, – вот он:

«– Тазад! Поверни тазад! Тай мне руку свою, пратишка!..

– Таконец-то мы встретились!..

– Я те мог ратьше. Я представился той даме, которая пыла там. Ота прекраста. Ота соблаговолила мне помочь!».

Узнали этот голос, искажённый воспалением гайморовых пазух? Ну, конечно... Это тот самый голос, который значительно помог первому вкрадчивому проникновению в нашу жизнь западных видеофильмов... Голос, который дублировал на русский язык иностранную речь, прояснял чужие секреты... Голос, напрямую обращённый к подросткам, к поколению, вынужденному в конечном счете решать: принимать или не принимать перевод... нет, не фильма... перевод иного образа жизни. Жизни сказочно богатой, праздничной, яркой от дополнительных обёрток Голливуда, но всё же... всё же далеко не идеальной, ущербной в своём неистреби-

мом индивидуализме.

Говоришь с ребятами и всё чаще чувствуешь: чужой образ жизни захватывает их, нас, страну.

ТАКОНЕЦ-ТО ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ, подростки и иноземная модель счастья?

1992

На дне сыроежки ломаются

Закончилось дождливое, тягучее, безденежное лето. Объявил себя сентябрь. Генкины приятели решили, что хватит *валять дурку*, пора делать миллион. Генка не возражал, но как сколачиваются миллионные состояния, он решительно не знал.

Объяснил Шараш. Шараш был самым старшим в компании и самым опытным. Он, хотя и неудачно, уже попробовал покрутить напёрстки на Центральном рынке. Шараш сказал:

– Я знаю одно место, где перед семафором отстаиваются поезда. Это в лесу, перед мостом. Глушь! А ещё там рельсы делают крутой поворот, – хвостовых вагонов из тепловоза не видно. Пару-тройку вагонов *поставить* – раз плюнуть. День поработаем – потом до старости *пятикатками* можно подтираться.

Шараш умел говорить красиво. А для Генки чем красивее – тем убедительнее.

На следующий день – хоть и был он дождлив – отправились за город. Товарняк как дожидался их. Шараш проницательно посмотрел в Генкины глаза и шёпотом спросил:

– Ну что, ковырнём вагончик?

Наверное, ему тоже было неудобно. А Генку колотил озноб. Чтобы не выдавать страха, он первым бросился к вагону. Как в драке: лишь бы начать, сделать первый удар, а там

сворой налетят остальные.

Налетели... Мешая друг другу, тяжело дыша, принялись скручивать с двери толстую проволоку. Она не поддавалась. Шараш ударил по проволочному узлу ногой. Генка не успел отдёргнуть руку. Проволока поцарапала ладонь. Генка отошёл в сторону. Потом ещё подальше, к лесу. Затея перестала нравиться.

В вагоне оказалась сельхозтехника. В следующем – шины для тракторов. Но Шараш не отчаивался.

– Надо дождаться контейнеров «Морфлот», – сказал он. – Гадом буду, если там видиков не окажется.

Сели на поваленную сосну, скользкую от дождя. Стали ждать. От перестука подходящих поездов у Генки противно сжималось сердце. А когда товарняк уходил, Генка расслаблялся, как у стоматолога, объявляющего: «Здоров!».

Наконец вынырнул из-за ельника поезд со сцепкой «морфлотовских» контейнеров, изредка разбитых пустыми платформами. Контейнеры серебрились в сером воздухе – не луна ли над Эльдорадо? Шараш, не дожидаясь, пока поезд остановится, ринулся на штурм ближайших «Морфлотов». За ним – остальные. И Генка тоже.

На вагонной двери висела аккуратная пломба, небольшой, как в лото, оранжевый бочонок из пластмассы, с чёрным штырьком внутри. Красивая штука! Шараш сорвал пломбу, бросил её на насыпь. Генка поднял бочонок и сунул в карман куртки.

В контейнере стояли картонные ящики. На их боках чернели японские иероглифы. Генка мельком подумал, может, не зря он *угревался* здесь, может, действительно, день жизнь кормит? Он подхватил ящик, который ему швырнул Шараш, и бросился в лес. Коробка была лёгкой. И коробки в руках приятелей – не тяжелее, если судить, как легко бежали друзья за Генкой.

Отдышались. Разорвали коробку. В ней оказался... бензобак. Для «Тойоты», если верить английской надписи-дублиёру на упаковке. В других коробках – то же самое.

Шараш лизал сбитые пальцы и возбуждённо расписывал:
– Завтра пораньше придём. С инструментами. Ты, Клён, возьмишь отёртку. Генка – нож. Я домкрат притащу. И рукавицы не забудьте!

На следующий день Генка сидел на той же поваленной сосне, подложив под себя рукавицы. Светило солнце. Глянцево блестел пустой брусничник. В паутине билась синекрылая муха.

Генка понаблюдал за ней и спросил:

– Шараш, тебе не показалось вчера, что нас машинист засёк? Давай средние вагоны не трогать?! Давай только в хвосте?!

– Очко играет? – равнодушно спросил Шараш. Потом добавил: – Если что, отмазка такая: мы здесь бруснику собираем. Или грибы.

Генка кивнул головой. Наклонился, сорвал несколько сы-

роежек, которые молодо проглядывали сквозь взерошенные еловые иглы. Положил в карман.

Послышался шум поезда. Генка обернулся на перестук колёс. И увидел, что из леса, отрезая пути к отступлению, быстро и деловито выходят молодые парни. Сомнений не было: оперативники.

Шараш быстро подпихнул под корень сосны домкрат. Игра в «напёрстки», видно, неплохо натренировала его реакцию.

– Что делаем? – спросил один из парней.

– Бруснику собираем, – чуть задыхаясь, ответил Шараш.

– Да-а-а... – насмешливо протянул опер. – Ну-ка, покажи ладонь! Почему пальцы чистые?

На запястьях у Шараша вдруг защёлкнулись наручники.

– Так ягод совсем нету... – заныл Шараш. – Неурожай!

Оперативник его не слушал. Он приказал своим:

– Поищите улики, – и метким взглядом выцепил рукавицы под Генкой: – Удобнее в рукавицах бруснику брать, а?

– Да я нашёл. Вон там, – Генка махнул вялой рукой в сторону далёких-далёких огородов. – И отвёртку вот нашёл. Под забором валялась.

– Поднимайтесь! – приказал старший опергруппы.

– Куда? – выдохнул Генка.

– Пройдем в отдел, – сухо ответил оперативник и улыбнулся своим: – Думали, осень... Кончился ягодный сезон. А нет...

В линейном отделе транспортной милиции Генку наскоро *ошмонали*. Вернее, попросили вывернуть карманы. Генка выложил на стол три сыроежки. Выложил и вдруг замер. Если б не солнце, если б куртка, в которой был вчера, не осталась дома – вместо сыроежек лежала бы перед сотрудниками милиции пластмассовая пломба с «Морфлота». Красивый оранжевый бочонок. Неопровержимая улика.

Как в тумане слышал Генка голоса из соседней комнаты. Там справлялись по телефону о личности Шараша, уточняли что-то про «напёрстки»... А Генка думал, как мало иногда нужно, чтобы пошла под откос жизнь.

И оперативник, наверное, про то же думал. Он взял в руки сыроежку, повертел её и вздохнул:

– Хрупкий гриб. Знаешь, на что похоже? На твою судьбу. Хрупкую и неокрепшую. Неверное действие – и ничего не восстановить! – Оперативник зажал шляпку гриба двумя пальцами (указательный, со шрамом, был вывернут в сторону). Резким, пугающим движением поднёс сыроежку к Генкиному лицу. Но крошить её не стал.

...Осень всё здесь. Я только что вернулся из лесу. В корзине – пяток рыжиков. На срезах их ножек – оранжевая изморось. Несколько белых... Скрипят под пальцами. И много-много сыроежек: осень любовно коснулась их своей кистью и оставила на мокрых шляпках синие, фиолетовые, светло-бордовые *расплывы*. Красивый гриб, если посмотреться. Но хрупок. Как ни осторожничал, всё равно на дне кор-

зины крошево. Не надо было сыроежки – на дно.

На дне они ломаются.

1992, сентябрь

Авторская педагогика

По узловой станции, по центральной улице, идёт участковый. Он в гражданской одежде. В руке – сетка, набитая продуктами: консервы, огурцы, бутылка подсолнечного масла. Не бравый «мент», а пожилой мужчина – без пяти минут пенсионер.

У гаража стоят пацаны. Курят. Один из них о чём-то упоённо рассказывает, пересыпая речь матерками. Мат так сочен, что кажется, ради него и затеян рассказ.

Участковый устало морщится. Переходит дорогу, приближаясь к подросткам. Он уже замечен. Рассказчик на полуслове замолкает. И остальные напряжённо топчутся на месте: милиция есть милиция – даже от самого бесхитростного вопроса можно ожидать подвоха. Но никаких вопросов нет. Участковый неторопливо достаёт из сетки длинный парниковый огурец. И... щёлкает им по лбу юного матерщинника. Потом неторопливо удаляется, не проронив ни слова. Мальчишки хохочут. Запоздало кричат вслед милиционеру: «Здрасьте!». И только один хватает ртом воздух, не зная, как себя вести.

Ревнителю гуманной, беспалочной педагогики, в атаку! Я тоже смеюсь. Я наслаждаюсь педагогическим приёмом. Я с благодарностью провожаю взглядом сутулую спину немолдого мужчины.

И ещё об участковых.

Недавно возвращался из деревни. Шёл с вереницей дачников на станцию, к вечернему поезду.

Дорога в лужах, жмёмся к обочинам.

Вдруг из переулка выныривает милицейский УАЗик. Летит на нас. Проносится мимо, обдавая грязью и брызгами. За рулём успеваю заметить молодого сержанта, который обнимает сидящую рядом девуцу.

Минут через пять за спиной снова раздаётся рёв двигателя. Оборачиваюсь.

Знакомый УАЗ.

Местные подростки вдруг вскакивают со скамейки у палисадника. Выбегают на дорогу. Резко взмахивают руками.

Сержант тормозит.

Пацаны, сгрудившись у ветрового стекла, о чём-то эмоционально докладывают участковому. Тот снова срывается с места. Обгоняет меня. Препраждает машиной путь. Выскакивает из кабины.

– Как вы меня обозвали? – обращается ко мне. От него разит перегаром. Видя моё недоумение, поясняет:

– Это вы заорали на всю улицу «ё. пид... с», когда я вас обрызгал?

– Как закричал? – машинально переспрашиваю я.

– «Ё. пид... с»! На всю улицу!

Пока я собираюсь с ответом, раздаётся свист. Кто-то из подростков, тех самых, у скамейки, кричит на весь дач-

ный посёлок:

– Товарищ сержант! Не этот! Не этот вас «ё. пид... м» назвал! Тот, кто обозвал вас «ё. пид... м», за товарняк завернул!

Я вдруг начинаю понимать смысл происходящего.

Доблестный страж закона и собственного достоинства возвращается в кабину. Укатывает с глаз долой. То ли тоже начал соображать, кто на самом деле обозвал его. Несколько раз! На всю улицу! То ли лень продолжать погоню пешком – за товарняк-то не проедешь.

Слышно, как в конце улицы пацаны бурно обсуждают свой хитроумный щелчок по сержантскому носу, свой метод «авторской педагогики». Слышно:

– А пусть не форсачит перед всеми!

Действительно, пусть не «форсачит»! Пусть делом займётся! Помидоры вон из теплиц прямо среди бела дня начали воровать.

1993, август

В рыжий дом заглянула печаль

На бывших торфяниках лежит спальный район большого города. От центральной части его отделяет крутой взлобок – всё, что осталось от былой сопки. Здесь, под боком скрытой горы, и живёт Пашка. В рыжем доме.

Любой дотошный реалист поправит Пашку: дом не рыжий, а цвета запылённого кирпича. Но Пашке нравится так: рыжий дом, пятиэтажка-рыжик. О «хрущёвке» – как о человеке.

В рыжем доме Павел родился. Когда он выходит из подъезда с улыбкой – рыжие панельные стены улыбаются. Если Пашка хмур, дом тоже нахмурен. В последнее время и Пашка, и его дом мрачнее тучи. Оттого что расходятся Пашкины родители. С кем остаться, Пашка не знает. С матерью не хочет. Объясняет: «Там этот козёл...» – про возможного отчима. Отцу боится стать обузой. Отец – инвалид второй группы. Пенсия – крохи. Да ещё и нещадно поддаёт растерявшийся в жизни папаня.

Что творится в Пашкином сердце – как не догадаться? Кажется, нет туда входа ни одному чувству, кроме горькой безысходности. Но – нашлось такое чувство, которое обнаружило себе уголок в переполненном сердце Паши. Я говорю о печали.

Зачастую печалью называют что угодно: скуку, тоску, рас-

терянность, подавленный страх, раздражение... Да мало ли чувств, у которых внешние проявления так похожи, что их легко перепутать друг с другом!

Но печаль, по-моему, стоит наособицу. Это зрелое чувство.

В какой-то сказке братьев Гримм резанула меня однажды фраза: «Что печален – или к смерти готовишься?». Уж не помню, кто из гриммовских героев задал этот отточенный вопрос. Но думаю, вряд ли подросток. Потому что не каждому дано связать печаль с приуготовлением к уходу. Не каждому дано понять, что печаль – это та самая чувственная волна, которая охватывает тебя при мысли, что «все мы в этом мире странники».

Конечно, о смерти думают и на подростке. Но детские мысли не рождают печали, разве что страх. Роскошь и гнёт печали нужно заслужить худо-бедно состоявшейся судьбой. Нужно пожить.

Печаль – *чувство* о собственной судьбе.

Может, о судьбе легче размышлять, то низводя эту судьбу до банальной карьеры, то вплетая её во вселенски-бытийный процесс. Нить таких размышлений изломчата и большинству ребят известна: вчера получил трояк по физике... в вуз не поступить... хорошо, что Егору *вльиндил*, никто не заявит, что я *лошина*... за что зацепиться?.. может, в Бога поверить? и т. д. и т. п. Итоги, планы. Планы, итоги. Конечно, тоже своеобразная подготовка к самому главному итогу – к смер-

ти, к черте под собственной состоятельностью.

Но рассудок часто врёт. *Размышляя* о собственной жизни, можно стать чище и лучше. А можно не стать.

Печаль же не врёт. Тот, кто *чувствует* прожитое, тот себя не обманывает. Сердце само всколыхнётся, когда память напомнит ему светлые дни былого, добрый ли поступок, любовь ли... («Мне грустно и легко; печаль моя светла; печаль моя полна тобою...»). Сердце вспомнит даже то, чего не выразить словами.

Человек печалившийся – чище, светлей, чем он был раньше. Печаль напомнила, что из было вызывает жизнеутверждающий отзвук, а что лишь сожаление... Печаль подсказала, как жить впредь, чтобы смерть как итог не страшила.

Печаль – компромисс между жизнью и смертью.

Пашка из рыжего дома никогда не знал печали. И лишь однажды...

В то утро Пашка отправился в поход за лампочками. В самодельной гирлянде светомузыки перегорело несколько штук, и он решил их заменить. Вообще-то, светомузыка подождала бы – не до неё. Но не терпелось показаться кому-то в новом костюме «Адидас», в спортивной фиолетовой *мятке*.

Деньги на костюм Пашка настрелял на «маршруте». «Маршрутом» он называл несколько хорошо изученных улиц вдалеке от дома, куда то один, то с другом Гошей ходили *бомбить* раззяв-ма+лышей. «Бомбить», конечно, громко

сказано... С «пескарей» много не возьмешь. Ну, 25 рублей... Ну, 50... С ребятами же постарше Пашка остерегался связываться.

С «маршрутными» деньгами к коммерческим киоскам можно было и не соваться. Не по карману товар! Но какое-то шестое чувство привело Пашку к ДК «Автомобилист» – это рядом с «маршрутом». А там, оказалось, продажа поношенного зарубежного тряпья. И «Адидас» достался Пашке за бесценок.

Пашка зашёл за Гошей, и теперь они поднимались по улице, уводящей их из родного квартала.

Мне, к сожалению (или к счастью?), уже не вспомнить, что чувствует человек, когда становится КАК ВСЕ... Поэтому всяческие Пашкины переживания вокруг штанов, сравнявших его с Гошей, я попросту опущу. Как и оживлённый, но беспредметный разговор между друзьями. Перехватим наших героев у новой четырнадцатизэтажки, к которой они уже подошли. И еще раз окинем их взглядом, потому что в стремительности дальнейшего будет не до этого. Это разглядывание ничего не добавит к Пашкиному характеру. Но отчего-то хочется не забыть тех легких импрессионистских мазков, что нарисовало стечение обстоятельств и которые так редки в нашем раздражённом чугунно-дымно-экскаваторошагающе-мрачном мегаполисе.

Четырнадцатизэтажка уронила на снег серую тень. Порывы позёмки делали её размытой, неверной. Лишь серый бе-

тонный бордюр вдоль подвальных окон держал контур. Пашка, встряхнув русыми прядями, вспрыгнул на бордюр. Его распахнутую куртку приподнял ветер – и фиолетовое пятно «Адидаса» над строгими линиями бетона стало на миг чуть больше, размытее.

Гоша шёл рядом. Такой же фиолет штанов, такая же сажа курточки, распахнутой ветром, да ещё чёрная спортивная шапка. Но – чётче, ярче, оформленней.

А за ними бежала Гошина собака – чёрный ризеншнауцер, завершающий мазок мимолётной картинки.

В подъезде было темно, посленовогодне: на полу валялись осколки стекла, проволока от шампанского, к пахнущему портвейном пятну на стене прилипло конфетти. На ступеньках горелыми спичками кто-то выложил: «ПИСЯ» – какой-то малыш делился с миром важными открытиями.

Пашка с другом поднялись на лифте на шестой этаж. Собаку оставили у лифта, *на стрёме* – давно продуманный и привычный этап операции. Можно и без собаки, но в новых домах не все плафоны разбиты. Прежде чем вывернуть лампочку, приходится снимать матовые шары. И мало приятного, если кто застанет тебя с плафоном в руке, – на праздное любопытство не сошлѣшься.

Улов с шестого этажа оказался невелик – одна лампочка. Паша и Гоша переместились на седьмой. Потом на этаж выше.

Пока Гоша возился у мусоропровода с плафоном, Пашка

решил передохнуть. Вышел на площадку чёрной лестницы. Потом на лоджию. Что-то потянуло взглянуть на город с высоты летящих птах...

Перила лоджии были занесены. И только в одном месте... Побелевшие кисти рук... Чьи-то пальцы, судорожно вцепившиеся в деревянную планку...

Сначала Пашка хмыкнул. Принял увиденное за чью-то шутку: не руки то – либо гипсовый муляж, либо резиновые перчатки...

Пашка шагнул поближе, чтобы рассмотреть новогодний розыгрыш.

Но розыгрыша не было!

За границей лоджии Пашка увидел человека. Человек висел на вытянутых руках, мёртво вцепившись в перила. Он был в легкой тенниске, мужчина лет тридцати. На запрокинутом лице безумно голубели глаза.

Что было дальше, Пашка помнит урывками, словно за-спанное сновидение. И рассказывает об этом так: «Я Гошку как закричу! Давай мы мужика поднимать. А он тяжёлый – ничего не получается. Только тенниску на нём задрали. Спина оголилась.

Мы побежали кого-нибудь на помощь звать. А все отсеки на этажах перекрыты решётками и балконными дверями. Звоним, звоним – никто не выходит.

Вдруг один мужик все-таки появился. Пьяный. Мы ему объясняем, а он улыбается и молчит.

Я как заору:

– Что молчишь? *Глухаря поймал?* Там мужик сейчас разобьётся!

До пьяного дошло. Он побежал к лоджии. Мы за ним. Смотрим, а «спасатель» на балконе стоит, уткнувшись лицом в тенниску. Ту самую, что была на погибшем. Да, погиб он. Так и не смогли его спасти.

Выбежали мы во двор. Сорвавшийся мужик на бетонном бордюре лежит. По пояс голый. От этого кровь на нём и вокруг ещё сильнее видна...».

Пашка замолкает, и я вижу печального подростка.

За свою жизнь Пашка кое-что сделал. Дарил цветы незнакомой старушке. «Для смеху», как объясняет. Словно птичьи гнезда, «зорил» плафоны в чужих подъездах. Унижал на «маршруте» *пескарей*. А сто рублей, отобранных у малышни, однажды необъяснимо для себя бросил в тубетейку таджика-беженца...

Кое-то сделал. Кое-что натворил. Но никогда не брался оценивать – что там, позади?

Лишь встреча с чужой смертью, мгновенной и нелепой, разбудила в Пашке желание самооценки, *чувственной*, в первую очередь

И печаль в его глазах светится теперь иногда подолгу.

1993, январь

Дождь смывает след зелёного мелка

Во дворе на скамейке, на свернувшихся от зноя лоскутках покраски, стоит коробка с мелками. Мне со второго этажа хорошо видно, какого мелка в коробке нет: зелёного.

Зелёный мелок в работе. Посреди двора сидит на корточках малыш и что-то рисует на асфальте. Движения художника не по-детски порывисты. Это он старается успеть до грозы.

Гроза близка. Тяжело кипит грязно-сливовое небо. Тополя туда-сюда вертят растопыренными ладошками листьев, — как дошкольники перед дежурным, проверяющим чистоту рук.

Не могу сбросить с себя напряжение. Хочется, чтобы этот «клоп» успел закончить рисунок. Чтобы поставил последнюю конопушку на весёлой рожице... Дотянул до поребрика последний солнечный луч... Дочеркал... — впрочем, что малыш малюет на асфальте, мне не видно: он сидит ко мне спиной.

Откуда моя тревога? Откуда нетерпение? Пройдёт гроза, подсохнет асфальт — и вновь превратится в мольберт для пятилетнего художника, явит новые меловые каракули. Отчего же я рвусь увидеть рисунок именно сейчас? Может, под диктатом собственных воспоминаний, смутных, капризных, готовых навсегда вернуться в глубины памяти, ничего не до-

бавив мне в настоящем?

Воспоминания о собственном детстве. Ты давно зарёкся лепить из них уродливые формы социальных символов. Нитями воспоминаний, яркими нитками-мулине, истончёнными временем, ты теперь не латаешь грубую мешковину современности, надеясь, что нынешний день будет понятней. Но откуда сегодняшняя потребность оживить давнее-давнее? Откуда желание вспомнить вот это?

В твоей ладони лежит *фальшивое* яйцо. Его не отличить от куриного, может, чуть больше засалено. Но это всё же ненастоящее яйцо. Оно из мела. Ты нашёл его в курином гнезде и ещё не знаешь, что подобные меловые *подклады* – приманка для пеструшек, подсказка, где нужно нестись. Ты сковыриваешь с яйца пёрышко, под ним открывается ослепительно белый узор, похожий на лист лекарственной ромашки.

Твои движения нерасчленены. Расчленённость – плод сомнений. Ты же уверен, что всё в руках – твоё, определено тебе для какой-то нужды. Ты проводишь мелом по куску жести, которой обит сарай. Белая горизонтальная полоса в тени сарая светится снегом. Отходить, любоваться следами мела – этого нет и в мыслях. Без того понятно, что меловая черта красива. Ты тянешь эту черту дальше: по чёрной резине тракторного колеса, по синему радиатору (наткнувшись на масляное пятно, след обрывается), по зелёным штакетинам палисадника, по срубам колодца, где линия не так ярка –

влажно же.

Тебе хочется проложить меловый путь по зелёным стеблям конопли, но конопля не даётя мелу. И на белёной стене дома меловый след исчез. Зато за двором: столб, ствол тополя, поднятые кверху оглобли телеги – всё отмечено белой линией на метровой высоте от земли. НА ВЫСОТЕ ТВОЕГО РОСТА!

Стоп, вот и разгадка твоей тревоги. Сейчас, здесь, на балконе, в ожидании грозы.

Меловая черта из детства вспомнилась неслучайно. Ведь она так похожа на зарубки на дверных косяках. А сколько раз в последнее время ты замираешь над этими зарубками, старыми и новыми, в городских квартирах и деревенских. Отыскиваешь линию метровой высоты, линию самого зелёного детства. И задаёшь себе вопрос за вопросом.

Для всех ли, во все ли времена эта линия – линия той высоты, с которой хорошо видны муравьи, созревшие калачики и блестящие никчёмные безделушки? И больше ничего!

Или уже, как предсказывают футурологи, вот-вот появится поколение, для которого наши восприятия, истоки, наши привычки, наши взгляды на жизнь (при всей их полярности), наша мораль (при всех в ней разночтениях) будут так чужды, как чужд нам какой-нибудь доисторический Номо еректус.

Ретроградно ли детство? По-прежнему ли ретроградно? Ты задаёшь себе вопросы и косишься на небо... Хлынуло. Гроза, как и положено городским грозам, окружённым

бесчисленными громоотводами и водостоками, случилась суматошной.

Малыш поспешно поднимается, засовывает мелок в кармашек шорт, пачкая мышиную штанину размашистой полосой, бежит к подъезду.

Я смотрю на асфальт. Я вижу зелёную штриховку. Латинская буква «S». Корявая, будто утка, нацелившая свой клюв под крыло. «S» перечеркнута двумя параллельными линиями. Знак доллара.

Дождевые потоки смывают меловой рисунок, словно спешат скрыть тайну малыша. Ту тайну, которая так и не прояснилась.

Что для него этот знак, в котором параллельные линии символизируют «Геркулесовы столбы», на языке античного мифа – выход в неизвестное? Преждевременный ли прорыв из его тёплого, мохнатого, апельсиново-хвойного, жалостливого к игрушкам мира в мир взрослый, флюгероватый по нынешнему безвременью?

Или «неизвестное» для малыша – это то, что вскоре будет им познано, осознано и намертво отгородит его самого от меня, от всех нас – каких-то там Homo sapiens?

1993, 17 июня

Тётя продавец, продолжатель Аристотеля

Бывший хлебный магазин. Безымянный. На вывеске – лишь устаревший ОРСовский номер. Теперь, в духе времени, название этого магазина могло бы выглядеть как-нибудь почудачественнее. Например, так: «Малышковая дразнилка».

Подразнить ребят есть чем. На витрине, вместо дешёвых пачек с печеньем и вафлями – мозаика из «Марсов» и «Баунти». Вместо кукурузных палочек – «сладкая парочка» «Твикс»... (Западное вторжение в российские магазины обозначено стратегической стрелкой из шоколада!).

На виду у покупателей замер малыш. Он тихо, некапризно нычет. «Купи шоколадку, – уговаривает свою мать. – Только одну, вон ту! Она мне всю ночь снилась!».

Мать горько краснеет (если можно назвать горькой краску беспомощности). Она, вероятно, подыскивает слова, чтобы доступно расписать малышу «прелести» рынка.

Что тут скажешь? Рынок всегда прав! Если родители не хотят вот так мучительно краснеть и задыхаться в поисках отговорок – пусть работают. Зарабатывают. Покупают...

Но ведь и работают. Честно. Добросовестно. Профессионально. А не зарабатывают! Парадоксы переходного к рынку периода.

Молодая мама, наконец, находит выход.

– Это не шоколадки, сынок! Это пустые коробочки на витрине! Тётя продавец их для красоты поставила.

Малыш смотрит на пожилую продавщицу, на мать.

– Тогда давай коробочку купим! Хоть и пустую!

Вмешивается «тётя продавец», до этого с состраданием наблюдавшая не новую для неё сцену.

– А нельзя коробочку купить, маленький! – произносит она – Нельзя! Я все коробочки клею к витрине приклеила! Очень крепко приклеила! Ни за что не отодрать!

Вот такая солидарность! Такая гуманность!

Мне чудится в этой гуманности очерк какой-то новой этики. Не той, что застолблена Аристотелем и другими античными мудрецами. Не той, что породило христианство. И уж, конечно, не социалистическая она, этика!

Мы опять впереди Европы всей... Из наших обновлённых отношений потихоньку, по мелочам конденсируется новое понимание морали, нравственности. Эта мораль – мораль людей, почти поверивших в рынок, но не забывших социализм и обещаний «всего помногу и бесплатно».

Новые, доселе неведомые человеческим общностям условия, ежедневно рождают какие-то новые нормы взаимоотношений. Современным Аристотелям, которые возьмутся за их свод и классификацию, не придётся скучать. И торопиться не придётся. Переходный период, судя по всему, затягивается, как октябрьский дождь.

1993, сентябрь

Крокодилы летают, только низко

В 1981 году, под конец лета, мне приснился сон. Он и стал для меня символом того времени, на которое нечаянно пришла моя юность.

В этот сон, как и в большинство наших сновидений, вкрадчиво проникла реальность. Перед отбоем мы, девятнадцатилетние студенты, обсуждали какую-то частную проблему генетики. Ещё я умудрился обгореть в последнем солнце того давно ушедшего года, кожа на спине воспалилась – и организм остужал её волнами озноба. Эту фактуру и впитал сон. Но символом его сделала иная реальность.

Перескажу сон так, как я записал его тогда, по свежим следам:

«Первая часть сна запомнилась смутно. Зато вторую можно восстановить до мелочей. Снилось какая-то лагуна, что-то среднее между берегом Ириклинского водохранилища, где я тогда жил, и Океанией.

Краски чистые, сочные, но не броские. Океан (всё-таки Океания!), прибой, лиловое небо, дальний багрянец заката.

Мы с какой-то компанией загораем, развалившись на песке. Лениво обсуждаем вопросы генетики на примерах крокодилов. Что-то вроде:

– У аллигаторов прекратился естественный отбор. И то – куда им с человеком тягаться?! Вот и вымирают.

(Во сне этот разговор, разумеется, помудрёней, позаковыристей).

Сами крокодилы – дряхлые, беззубые – недвижно валяются неподалеку от нас

Вдруг всё темнеет. Только багрец дальнего океанского заката становится ярче. А по лилово-зелёному с чернотой небу быстро надвигается на нас какой-то светло-зелёный контур.

Сквозь резкую тревогу – моментальная, обречённая, безо всякой надежды догадка: «Американский бомбардировщик! Ядерная война!! Война!!!».

Откатываюсь, пытаюсь спрятаться за приливными наносами песка. Бесплезно. Горячие, яркие вспышки всё ближе и ближе! Становится больно спине (это даёт знать о себе реальный перезагар!).

Вдруг чей-то голос:

– Мужики! Это не самолёт! Это ядерный крокодил! Приспособился, гад! Эво-лю-цио-ни-ро-вал!

Вот такой сон. Главный сон моей юности. Он запомнился не тем, как подсознание отразило сгоревшую спину. Он выделился не генетической окраской (тема генетики могла придать некую символичность чьим-то снам, разбросанным в ночах 40-х, лысенковских годов).

Он остался в памяти потому, что стал для меня памятником холодной войны. Как она полыхала в начале 80-х! Холодная война – *полыхала*...

Не место сейчас размышлять, что отняла у нас та война,

какие шрамы оставила и какие комплексы вселила. И на какие-то обвинения младших поколений в определённой нашей ущербности (оспины генерации!) незачем тыкать в ответ индульгирующим удостоверением «участника холодной войны», хотя такие удостоверения у нас есть (у меня – листок бумаги с «ядерным крокодиллом», у других ровесников – какие-то другие свидетельства).

Мне же сейчас горько признаться: тот сон вытеснил из неповторимой моей ночи какое-то другое сновидение... Из разряда тех, что снятся всем юношам во все века: сон ли о полёте в небе Земли, или о приближении к чему-то (или кому-то) беспредельно чистому и светлому, или изнывающе сладкий, как готовая ускользнуть капелька семени, эротический сон.

Я рад, что мой ядерный крокодил не протаранит небо нынешних ночных грёз молодёжи.

Хотя... У каждого поколения – свои оспины. И сны у каждого поколения свои.

Чтобы лучше понять современных «надцатилетних», не худо знать, что им снится. Недавно я записал сон Димы Ч. Ему, как и мне когда-то, девятнадцать лет. Но реальность, окружающая его, совсем иная. Дима «слегонца» успел поработать в одном частном предприятии. С хозяином не сработался. Остался без дела. И без денег, соответственно. Насколько знаю, парня терзают самые разнообразные мысли, как раздобыть эти проклятушие деньги. Одна из таких мыс-

лей, порождённая крайним отчаянием, и ворвалась в его сон:

«Снится, будто я наконец устроился на работу. Пришёл в первый день, вижу: подвал – как на прежней моей работе. Среди людей – двое моих знакомых. (Одного зовут Котом). Они в кожаных куртках.

Все садятся за стол, начинают хавать, пить. Потом переходят в другую комнату. Снова хавают и пьют. Вдруг кто-то, как я понимаю, начальник, командует: «Всем на выход!». Все вскакивают, как в армии. Бросаются переодеваться. Я тоже скидываю «варёнки» и натягиваю широкие, как у гопника, штаны.

Все выбегают из подвала. Командир орёт: «Задраить двери и окна!». Мы замуровываем подвал. И бежим за командиром. Вскоре я уже ничего не вижу, кроме спины Кота. Кот шарахается то в одну сторону, то в другую.

Слегонца мороз. Лёгкий серый свет. Как утром в зиму. Добежали до какой-то многоэтажки, и я вдруг понимаю, куда устроился работать! В кооператив рэкетиров! Я – самый младший в банде!

Вдруг раздаются выстрелы. Кот падает за «девятку», припаркованную к дому. Я тоже валюсь за машину. В руке у Кота пистолет. Он отползает к капоту и начинает отстреливаться.

Я приподнимаюсь и смотрю сквозь стёкла «жиги» – они в одном месте не замёрзли. В этот незамёрзший пяточок вижу, что на балконе стоит четверо парней. Лица у них

неживые, как у киборгов. Они из пистолета поливают огнём площадку перед домом. Вдруг один из «киборгов» смотрит на меня. Наши взгляды встречаются. Парень с балкона поворачивается к своему другу, шевелит губами.

У меня внутри расплывается чувство страха. Я отваливаю от оконца, и оно вдруг сразу разлетается под пулей. Другая пуля проходит сквозь правое плечо Кота. Кот падает. Я ползу к нему, решив забрать его пистолет, и проклиная своего командира, который не выдал мне оружия и ничего не объяснил. Тянусь к пистолету Кота. Но Кот вдруг поднимается, орёт: «Хватай обрез и две обоймы патронов!».

Я пытаюсь объяснить, что я новичок, что оружия у меня нету. Кот не слушает. Начинает трясти правой, раненой рукой. Я думаю, что это припадок, но из рукава высовывается обрез. Я его выхватываю. Передергиваю затвор, который очень необычен. Во-первых, он над цевьём. Во-вторых, весь состоит из каких-то пружинок. Заряжаю обрез. И выбросив ствол на крышу машины, стреляю. А сам не высовываюсь – наблюдение веду сквозь разбитые стёкла «жиги»...

Вот такой сон. Когда у Димы Ч. через перевал времени заноют раны, нанесённые нынешней реальностью, он, я думаю, припомнит этот сон. И увидит в нём новый надрывно-болезненный смысл.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.